

Марина Цветаева

Мой Пушкин



*Часть сборника
Проза (сборник)*



Марина Цветаева

Мой Пушкин

«Public Domain»

1937

Цветаева М. И.

Мой Пушкин / М. И. Цветаева — «Public Domain», 1937

«... В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль». Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...»

© Цветаева М. И., 1937

© Public Domain, 1937

Содержание

Марина Цветаева	5
Примечания	30

Марина Цветаева Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – «Jane Eyre» – Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».

Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу – в слове *живот* для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключаящего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.

– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернью.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, – я поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой – «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале – «Татары» – татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и – в спальне матери – «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносими голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли

воды не осталось, было не менее страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

* * *

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр – черные¹.)

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили.

(Боже, как сбилось! Какой поэт из бывших и суших *не* негр, и какого поэта – *не* убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминания есть свое *до*-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая *всегда* оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды, – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и отовсегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и усиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», – чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая².

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев, – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала – к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андриюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толсто-

¹ Пушкин был светловолос и светлоглаз (примеч. М. Цветаевой.)

² Там верстою небывалой Он торчал передо мною... («Бесы») Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне... («Зимняя дорога») (примеч. М. Цветаевой).

ватость – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку – они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос – знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, – приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! – и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* – комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» – с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто *меня*, тогда – *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду – я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом – и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памятник-Пушкина – для меня. Но что же тогда для фигурки – Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья – внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом. Или – гром. А *она* для него – такая уж маленькая, что он ее тоже – просто не видит. Он думает – просто блоха. А меня – видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

... Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, *от* него – спиной и *к нему* – спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья *до* него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник Пушкина я любила за черноту – обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина – совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин – негр, я бы знала, что Пушкин – негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным – рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, – черный памятник Пушкина моего до-грамотного младенчества и всея России.

... Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот – всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

– На Патриаршие Пруды или..?

– К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах – патриархов не было.

* * *

Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта – среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство – обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события, – памятник против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть *факт*, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину *быть*. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой *поклона* – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень – цепь, камень – цепь, камень – цепь, все вместе – круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты – *мой* Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась – не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. – «Ампи́р»? – Ампи́р. – Empire – Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями – чудный памятник. Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем *народу* я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью *живой* стихов я был полезен... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением *пользы в поэзию* – подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года – установки памятника, – наконец заменена словами *пушкинского* «Памятника»:

И долго буду тем *любезен я народу,*
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век *восславил я свободу*
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая – безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище – в слове:

А там, в полях необозримых
Служа *небесному* царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

* * *

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит – либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» – «Да». – «Так это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг – пройдет.

Прошел он – и именно вдруг – но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди – звезда.

– Ну, Муся, видела сына Пушкина?

– Видела.

– Ну, какой же он?

– У него на груди – звезда.

– Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, – нянину: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок соб-

ственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». – «Что, барышня?» – «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». – «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, – вмешалась няня. – Небось сами – полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» – «Знаю». – «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство» .

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить – связанного у меня только с предметами – белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и т.д. – а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

* * *

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая, – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

* * *

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А.С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманный, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин – «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик. Я стариков знала только одного – сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у

которого рука отсохла – потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А.Д. Мейн – не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово – любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это – любовь. Я думала – у всех так, всегда – так. Оказывается – только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена – в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым – потому что краденое, детям – потому что я их презираю, а главное – потому что тайна: моя – с красной комнатой, моя – с синим томом, моя – с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить – разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух – в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы – швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася – спала.

– А у нас Мусенька – умница, грамотная, – говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. – А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того (барабанщика).

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

– Я могу рассказать про «Цыган».

– Цы-ган? – нянька, недоверчиво. – Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребущие?

– Это не такие. Это – другие. Это – табор.

– Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит – молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...», – а старая чертовка – бельё с веревки али уж прямо – бриллиантовую брошь с барынина туалета...

– Не такие цыгане. Это – другие цыгане.

– Ну, пуцай, пуцай расскажет! – приятельница, чуя в моем голосе слезы. – Может, и вправду другие какие... Пуцай расскажет, а мы – послушаем.

– Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыгане шумною толпой – По Бессарабии кочуют – Они сегодня над рекой – В шатрах изодранных ночуют – Как вольность весел их ночлег – и так далее – без передышки и без серединных запятых – до: *звон походной наковальни*, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто – принимаю.

– А складно говорит! как по-писаному! – восклицает швея, тайно меня любившая, но не смеющая, потому что нянька – Асина.

– Мед-ве-едь... – осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. – А вправду – медведь. Маленькая была, старики рассказывали – завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

– Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (Швея.)

– И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

– Ка-ак?

– Алэко!

– Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

– Алэко.

– Ну и Алека – калека!

– А ты – дура. Не Алека, а Алэко!

– Я и говорю: Алека.

– Это *ты* говоришь: Алека, *я* говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

– Ну, ладно: Алека – так Алека.

– Алеша, – значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). – Да дай ей, дура, сказать, – *она* ведь сказывает, не ты. Не сердчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

– Ну, эту дочь звали Земфира. (Грозно и громко:) Земфира – эта дочь говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

«Его в пустыне я нашла

И в табор на ночь зазвала». А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге: «В одной телеге мы поедем – та-та-та-та, та-та-та-та – И села обходить с медведем...»

– С медве-едем, – нянька, эхом.

– И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

– Кто это – в корзинах?..

– Так: «Ослы в перекидных корзинах – Детей играющих несут – Мужья и братья, жены, девы – И стар и млад вослед идут – Крик, шум, цыганские припевы – Медведя рев, его цепей».

Нянька:

– Да уж будет про медведя! Со стариком-то – что?

– Со стариком – ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта, тоже, Земфира – ушла. Сначала все пела: «Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя!» – это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

– Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то – что?

– Старик – ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» – и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе в голос:

– Так ему и надо. Не побивши – убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, – да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) – застал с полюбовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали... Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

* * *

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* – любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, – и вещь, которую *так* зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся – это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется – это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь. Когда розовогазовых нафталиновых парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не

увиджу – это любовь. То есть *это* – от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы.

А вот волк и ягненок – не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно.

– Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит. . .

– Но волк – *тоже* хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он *съел* ягненка, а ягненка я любить – хоть и съеденного и белого – не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

* * *

Сказав волк, я назвала Вожатого. Назвав Вожатого – я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего – любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножииков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был – главная тайна. Больше «Цыган», потому что он был – черней цыган, *темней* цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил – Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил. . . Вожатый.

* * *

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюрнбергская или крестнина парижская?

– Парижская.

– Почему? – Потому что у нее глаза страстные.

Мать угрожающе:

– Что-о-о?

– Я, – спохватываясь: – Я хотела сказать: страшные.

Мать еще более угрожающе:

– То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла – неправильно. Не глаза – страстные, а *я* чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом Париж, и делом сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала – глазам. Не я одна. *Все* поэты. (А потом стреляются – что кукла *не* страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

* * *

Немного позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретила Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять? Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что – любовь».

– Она наверное уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова³, наша лучшая и старшая ученица, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном, – мать ругается:

– Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шести лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда – когда расставались. Никогда – когда сидели, всегда – расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

³ Сестра Валерия Брюсова (примеч. М. Цветаевой).

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда *знала*, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой – любви – прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

* * *

У кого из народов – такая любовная героиня: смелая – и достойная, влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума, все козыри – чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю, – к чему лукавить?».

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать – к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны – внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда – непонадобившаяся, сейчас – вожденная, и тогда и ныне – любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она – не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь. Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить *того*, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т.д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не *его* дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня.

Ибо женщины *так* читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала – должно быть, все-таки – пожалела девочку...

* * *

С младенчества посейчас, весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи – той скамьи – того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркетные (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

* * *

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей – поэтической. Портрет в две дали – назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был *другой* Пушкин, в нем и Цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной... Но помимо содержания, отвращало уже само название: *для городских училищ*, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно – лица учеников городских училищ, – бедные лица: некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица – внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота – с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку *проверить* – и меньше всего – шестилетней тогдашней – мне. Раз сказано, так – *так*. *В стихах* – так. Эта птичка – поэтическая вольность. Интересно, что думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда *не* грозит уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» – это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» – это дворник, а дровни – это дрова, а мать – наша мать,

когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли – только им проходили – потому что вдруг у андреевских детей (семья, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки – были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были басни, которые, под видом стихов – проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала – последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были – идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, – ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-темному фартуку, – ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно *уже* прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю – еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: «А длинная?» – «Нет, маленькая повесть». – «Ну, тогда читать *не* буду».

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» – Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была – только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия – ничего преждевременного. *Вся* литература для ребенка преждевременна, ибо *вся* говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: «А я почём знаю?»)

...Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось – три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей – один и кто именно. Гетман для меня по сей день – Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей – по сей день Гетман, и т.д., и три стало одно, и это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы – не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю – возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною – точно чтобы его лучше видели! – а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь, *донос*, – донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была – злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала Гетман (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который – падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андриюше: – Ну, Андриюша, кто же был – он? И опять Андриюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: – а я почём знаю?» (Что за странный мир – стихи, где *взрослые* спрашивают, а *дети* отвечают!) – Ну, а ты, Муся? Кто же был – он? – Великан». – «Почему великан?» – «Потому что он сразу все починил». – «А что значит „И на счастье Петрово“ „? – „Не знаю“. – „Ну, что значит Петрово?“ (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) „Ты не знаешь, что такое Петрово?“ – „Нет“. – „А Андриюшино – знаешь?“ – «Да. Андриюшин штекенпферд, Андриюшин велосипед, Андриюшины салазки...» – «Довольно, довольно. Ну и *Петрово* то же самое. Петрово – понимаешь? Счастье – понимаешь? (Молчу.) *Счастья* не понимаешь?» – «Понимаю. Счастье, это когда мы пришли с прогулки и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати...» – «Достаточно. На счастье Петрово значит на Петрово счастье. А кто этот Петр?» – «Это...» – «Кто он? Что?» – «То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторонку – Где чудесный гость исчез...» – «А как этого чудесного гостя зовут?» Я, робко: «Может быть – Петр?» – «Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе:) Это был тот самый Петр, который...»

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?»

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную казачье-скачущую шапочно-доносную ночь и, что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский – в новый месяц! – вопросительный знак: «Кто?» Когда Петр – то всегда: кто? Петр, это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: – Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают – не то, всё, что подсказывают, – не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

«Родила» я не понимала, понимала только родилась, ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах – есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после столько отчего и столько явно ложных подсказок, – наконец, блаженное оттого! «Оттого-то шум и клики – в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? – Кто он? – Кто при звездах и при луне? – Черногорцы, что такое?» – и т.д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это – нарочно, что он не спра-

шивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, – строка за строкой, как умела, по-своему, стихи – видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос, в стихах, – прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое *отчего* требует и сулит *оттого* и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не *та* загадка, на которую готовая отгадка, и не *та* задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» – ни одного вопроса. Зато – сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть *мы* играем одни на реке, во-вторых, *мы* противно зовем отца: тятя! а в-третьих, – *мы* не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца!» – «Врите, врите, бесенята, – заворчал на них отец. – Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут *ужо*. Я говорю: немножко – уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам! *Ужо*-мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи – мертвецы, а этого мертвеца зовут *Ужо*, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Уже я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр заживались в Тарусе, на своей одинокой – в двух верстах от всякого жилья – даче, в единственном соседстве (нам – минуту сбежать, *тем* – минуту взойти) реки – Оки («Рыбы мало ли в реке!»), – но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки – опять затянуло под плот, – но часто и пьяные, а часто и трезвые, – и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех – потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака – от рака? Но ведь:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились!

...словом, сквозь стеклянную дверь столовой – привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,
Ночью буря настаёт,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот —

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки – своим потом и от страху бледностью – возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) – страсти страха. «Это, верно, кости гложет краснотубый вурдалак». Кто, вообще, гложет кости? Собака. Вурдалак – собака, с красными губами. Черная (потому что – ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак

сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только *слово* вурдалак, то есть название стихотворения. Конечно, слово вурдалак – неприятное (немножко лакающее), и та самая собака – не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны, и занятие ее – приносить свою кость именно на могилу – несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки – тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вие», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх – явлением Вия, и потом и виев – разряжается. Когда *много* – всегда *весело*.)

Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня – явный бессомнительный дурак – и бедняк – и трус. И еще – злой: «Вы представьте Вани злость!» И – представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что – злой... Ибо для правильного ребенка большего злодействия нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака – действие этим соседством предуказано.

И кончалось, как всегда со всем любимым, – слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у...

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были – «Бесы». «Мчатся тучи, выются тучи – Невидимкою луна...»

Все страшно – с самого начала: луны не видно, а она – есть, луна – невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и – о, сладкое обмирание – *ими!* Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом *ты* – летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, —той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним – Бесов, и над Пушкиным и Бесами – сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было – меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела – утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью – защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же – жалостью высокой, жалостью – восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «...домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» – только так, что никого они не похорони, не выдай замуж – всё равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают – чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, – а потому что они – они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: «Потому что Бог их проклял!») Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они – тучи! Что они – серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, *ими* – можно только мчаться! Что это – воздух, который воет! Что их – нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» – опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...). «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано – печалью, точно Пушкин этим повторением печаль луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», – то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые – опять были луною, точно луна на этот раз в два раза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» – не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё – ещё всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мое» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь – одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. *Вошли в состав.*

«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» – как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на *мою* няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш ключущий и воркующий, ключущий и рокочущий, сизо-голубой голубиный двор. (Моя няня была бы – *голубка*, а Асина – Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать (А не думаешь ли, голубка? – А не полагаешь ли, голубка? – А Бог с ними, голубка!) – кроме как голубка не называл никак, но *подруга* было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово подруга – самое любовное из всех – впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу; подруга, скажу: голубка – и заболит.

Кого я жалела? – *Не* няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки, няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он – что? А он – где? «Одна в глуши лесов сосновых – Давно, давно ты ждешь меня». Она – *одна*, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной – которую мать называла Шотландией – к Оке, вдруг – целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия – целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы» – у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) – чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений – множество. Сидит няня и горюет, а над ней – часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо – так горюет, что даже часы остановились. На *часах* было и под часами, и на часы, – дети к падежам нетребовательны. Некая же все же смутность этого *на часах* открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем – лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, – с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки – голубка...

Так, на часах было и под часами, и на часы и в конце концов немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно – спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечасности. Конечно, я, кроме *своей* тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но – запомнила. И – запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами – секундная заминка, точно это пушкинский конец к этому хрестоматическому – приращен. Да, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

Из знакомого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была *не* женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину – потому что родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слов к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

* * *

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были – ряд загадочных картинок, – загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала – я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто – видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами – Смотрит лагерь их и наш – На холме пред казаками – Вьется красный делибаш». Делибаш – бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются – казак с бесом. Каково же было мое изумление – и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш – черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). «Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш! Как же *черкес* может *витья*? Знамя – вьется!» – Отлично может витья. Весь черкес со своей одеждой». – «Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может витья? Знамя. – Я всегда понимала „Делибаш уже на пике, а казак без головы“ – что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось. – Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! „Делибаш уже на пике“ значит – знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен. – Ну так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как *знамя* может быть на *пике*? Мне по-моему больше нравилось. – Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики.

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш – знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения – выдумала, и вдруг – в 1936 году – сейчас вот – глазами стихи перечла и – о, радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблей кривою
С плеч удалую башку!

Это *знамя-то* срежет саблю кривою казаку с плеч башку?

Так бедный семилетний варвар правильнее понял *умнейшего мужа России*, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Кто такое? – Бонапарте спросил» – с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: черногорцами и Бонапарте, черногорцами, усугубленно неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному – Бонапарте.

«А Бонапарте – что такое?» – нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: – Мама, что такое Наполеон? – Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон? – Нет, мне никто не сказал. – Да ведь это же – в воздухе носится!

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем, «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми – представляла, Пушкиными – представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – по крохотному злому черному черногорчику (просто – чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте – тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить – забыла).

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

* * *

– Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедem к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

– Нет! – уже всхлипывала Ася. – Потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

– Врет! врет! врет.

– ...вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

– Правда, Муся, что я *не* говорил? Что это *она* сказала?

– Во всяком случае – кто бы ни сказал, – а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедem к морю.

К Морю.

Все предшествовавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы *мое* было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлого предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженого до неносимости и невыносимости платья – обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикэя, переписываю черным

отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – «К Морю». Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десть писчей бумаги, сложенной ввосемь, где нужно разрезанной и прошитой посередине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикеях и шевиотах – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник – с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето – которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: Прощай, свободная стихия!

Стихия, конечно, – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще – это *туда*. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть потому что между нами Ока, еще в La Chau de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix heures!»⁴ – и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; *вотще* – это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вотще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это – *тем*, и как *не* ошибались – тогда!).

⁴ Стража не спит! Пробило десять! (*фр.*)

Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Вспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится *гений*. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» – ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду – буду.)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот – видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой – все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила *волн*, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

* * *

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит **К Морю**, то есть дает обещание, которое не может сдержать.

С этой минуты я ехала **К Морю**, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое – и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что *мечта* и *один* – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

– Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семеныча, яичко.

– Ты его треснула.

– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось – кроме самого себя, и от *моего* моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?

Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем *К Морю* не было, были шумы – той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ничего.

* * *

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого *Nervi*, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны – светло-синяя луна – черно-синие тучи – светло-синий столб от луны – и по бокам этого столба – такой уж черной синевы, что ничего не видно – море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное – море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны – лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец – со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила – как та же девушка с любимым – тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало – море. Мое море, совсем черное от черноты парты – и дела. Ибо украла я его – чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие – забыли. Чтобы я одна. Чтобы – мое.

Так, с глубоко– и жарко-розовой австралийской раковины у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил – день.

* * *

– Ася! Муся! Смотрите! Море!

– Где? Где?

– Да – *вот!*

«Вот» – частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу – плоская, серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.

Это – море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но – мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив – всегда так. *То* море – завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы – отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это – залив.

Словом, я все еще *К Морю* ехала, и чем ближе подъезжала – тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» – была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет – и будут наши оба *здесь*.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. *Здесь и завтра*. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море – здесь, и его – нет.

* * *

Утром, по дороге к морю, Валерия:
– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!
Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так *не* пахла, и синяя открытка так *не* пахла.
Настораживаюсь.

* * *

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.

– Эта скала называется лягушка, – торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. – Это – *наша* лягушка.

От меня до лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

– А это – грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну – чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше – тем бледней, и что кончается она белой блестящей линейной чертою – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая – и башмаки соленые.

Море голубое – и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, *К Морю!* – но, значит, уже никакого желания нет? но все равно – даже без желания! я должна дописать *до* волны, *все* дописать *до* волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин —

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как *тот* гранит...

* * *

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться – точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое К Морю было – пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн *его души*, и естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди – не узнала.

В пушкинскую грудь – в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего – в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К Морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно – Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —

опустив или подразумевая третью и единственную: лирическую. Но *К Морю* было еще и любовь *моря* к Пушкину: море – друг, море – зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин – забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море – взаимное, тот единственный случай взаимности – до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море – мое море – море моего и пушкинского *К Морю* могло быть только на листке бумаги – и внутри.

И еще одно: пушкинское море было – море прощания. Так – с морями и людьми – не встречаются. Так – прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин – навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море – пушкинской свободной стихии – было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» – или без всякого оттого – я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь – а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием – с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила – белым по серому – шифером по шиферу – и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И – больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда.

1937

Примечания

Все тексты печатаются по изданию: Цветаева Марина. Собр. соч. в 7 т. Т. 4, 5. М.: Эллис Лак, 1994. При подготовке примечаний использовались материалы комментариев А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина из этого собрания, разыскания В.А. Швейцер, И.В. Кудровой, Р.А. Будагова, Н.А. Козиной, Л.П. Черкасовой и др. Стихотворные и другие цитаты, как правило, не атрибутируются. Повторяющиеся реалии комментируются лишь при первом упоминании.

Мой Пушкин. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1937. № 64).
«*Дуэль*» – картина «Дуэль Пушкина» А.А. Наумова (1840—1895).

...с 1884 года. – Памятник Пушкину открыт в 1880 году.

...о Пушкине и Пугачёве... – У Цветаевой есть статья «Пушкин и Пугачёв».

Музыкальная школа Зограф-Алексиной – Цветаева училась в ней с шести лет. Ныне музыкальная школа при Московской консерватории в Мерзляковском переулке.

Другой героини – Анны Карениной.

Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) – генерал-лейтенант; в апреле 1918 года был провозглашён гетманом – главой Украинской державы. С декабря того же года в эмиграции.

...пачёвской ивовой долиной. – Пачёво – деревня близ тарусской усадьбы «Песочное».

La Chaix de Fonds – из этой швейцарской деревни была мачеха матери Марины Цветаевой.

Модан – неподалеку от этого городка находится туннель, соединяющий Францию и Италию.

Викторов-Эммануилов – именем итальянского короля была названа сеть гостиниц в его стране.